

Дядя Лёня Зотов приятен до идиотизма, то есть до того момента, когда человек, прежде внимательно слушавший, вдруг всплеснёт руками и, уходя, буркнет себе под нос: “Идиотизм!” — а если не буркнет, то как-нибудь иначе даст понять, что это он самый идиотизм и есть.

Бывает это так: встанет дядя Лёня поутру, отряхнётся, как собака, и, первым делом, на остановку. Остановки, собственно, нет. Отъезжающие, если дождь или снег, толпятся под крылечным козырьком магазина, оборудованного в половине заброшенной кирпичной двухэтажки. В другую пору стоят под открытым небом и поглядывают на осиновый лесок по взгорью с чернеющим за деревьями высоким, как часовня, срубом водокачки, со стороны которой к восьми двадцати должен показаться городской автобус. Затемно (особенно ярко зимой и поздней осенью) горит за фонарным стеклом белая энергосберегающая лампочка. Но едва развиднеет, сторож из магазина тушит электричество. И тогда уже ничем не посветит, разве что кто-нибудь зажжёт спичку оранжевой ёлочкой, чтобы подкуриться, или вынет из кармана полыхнувший квадратиком телефон.

Дядя Лёня идёт на эти огоньки, как зачарованный. Лиц не видно, да и не нужно; главное, что люди здесь, а не марсиане. И дядя Лёня, поравнявшись и простерев руки, орёт неожиданно:

— Оставайтесь, земляне, я всё прощу!!!

Раскачивается с носка на пятку и в обратном порядке, изображая руками поднесённый к глазам “бинокль”, делает вид, что “настраивает”, как заправский моряк, хотя в море никогда не был, а просто вчера и позавчера, и все те дни, что были до позавчера, отчаянно штормило, да и теперь, когда волна улеглась, всего дядю Лёню мутит на старую закваску.

Присмотрев в “бинокль” кого-нибудь из небритой молодёжи, уже с утра заправляющей себя пивом, он решительно и не боясь для себя последствий, вклинивается, осадив разговор на полуслове. Со всеми церемониально ручкается, отвешивая замечания в стиле: “Чё-то у тебя, сынок, рука волосатая!” — и к этому присовокупляет свои личные комментарии.

От этих “комментариев” хмельных и сильных клонит, как молодой лес от ветра.

И дядю Лёню сходу, как родного, принимают в круг. Его хлопают по плечам и обнимают, пока кто-нибудь не вспомнит и не крикнет:

— Дайте дяде Лёне!

И тогда все вспомнят и закричат:

— Давай, дядя Лёня, за нас — вахтовиков! Завтра — паровоз “ту-ту!”. Сегодня — расслабуха...

Вот, как чарку на пиру, передают блуждающую из рук в руки пивную бутылку. Дядя Лёня, как бы “через не хочу” забрав в рот холодное влажное горлышко, после двух-трёх крупных глотков с сырым чмоком вынет, не прерывав и в этом случае выразиться:

— Вы ещё не то заставите!

И уже на полном серьёзе спросит:

— И куда вы опять едете, охламоны? Сибирь грабить?

Все разом замолкнут, как будто проглотили кость. Она тем острее, что кинул её не кто-нибудь, а дядя Лёня, — такой же, как они, “только старый”. Посмотрят растерянно, как бы спрашивая: “Это шутка или нет?”

Но всегда найдётся тот, кто поймёт с первого раза:

— Ну, а вы, типа, её не грабили! Только за казённые цацки...

Дядя Лёня даже спадёт с лица, не веря, что такое могли произнести в его присутствии.

— Ты это... Калитку закрой, сванидза! — и швырнёт на обочину опорожнённую пенную бутылку, и когда та разорвётся осколками и женщины, конечно, возмутятся, уже спокойно пояснит:

— Это была граната! Я продемонстрировал сынкам, как её нужно кидать, если нападут америкосы...

— Не нападут, Лёнька! — подначит кто-нибудь из мужиков. — Ты рот раскроешь — все лягут замертво ещё на границе!

— А ты правильно говоришь! — хладнокровно отреагирует дядя Лёня. — Он правильно говорит, сынки! Никто не посмеет против меня гавкнуть! Это на нас гавкают, пока такие, как Вася, стоят с закрытыми хлебальниками и бздят в валенок...

Но вот и автобус выкатил на пустырь, мерцает жёлтыми окошками. Все толкаются, лезут наперёд других, бодаются сумками. Кто-то из прибывших возмущается: “Да дайте же выйти!” — и ему, конечно, не дают.

Дядя Лёня, даром что никуда не едет, тоже штурмует автобус. Высвободив для себя место на нижней ступени, объявляет на манер контролёра, не сводя глаз с отсчитываемых денег (ради знания, у кого больше):

— Граждане пассажиры! Следующая станция — “Петушки”, берегите чемоданы и мешки!

Все устали от него. Никто не смеётся. Да и боятся, что станет просить займы. Дядя Лёня, заскучав, рыщет взглядом по салону. У парней, с которыми пил пиво, он уже стрельнул десятку. Женщин не берёт во внимание как наименее склонную к денежным займам группу населения. Одна надежда на мужиков, хотя бы на того же Васю:

— А ты, придурок, куда поехал? Алименты платить?! Дай-ка и мне семесят рублей, однако, твоего сынка воспитываю...

Но и мужики отворотятся от его глаз, а Вася и вовсе уставится в запылённое окошко и сделает вид, что не его касается. И водитель нетерпеливо погазует:

— Ты едешь или не едешь?!

Что тут скажешь? На часах восемь тридцать, а магазин открывается в девять, и этого изменить нельзя, а пешую прогулку ещё никто не отменял... И дядя Лёня, подтолкнув отъезжающий автобус, идёт дальше.

Не дай Бог оказаться у него на пути! Непременно и через всю улицу:

— Сыно-о-о-к!!! Обожди-ка два часа, я на третий подойду, в половине пятого на проходной, ровно в двадцать один ноль-ноль по московскому времени... Смотри не опаздывай!

Сам — вразвалочку. Или тормознёт с кем-нибудь поболтать, но нет-нет, да проверит: ждёшь ли? Вот уже:

— Здравствуй, сынок.

— Здорово, дядя Лёня!

— Как ты сказал, сынок?

— Здорово, дядя Лёня!

— А ты как должен говорить?!

— А как я должен говорить?

— А вот как ты должен говорить: “Здравствуй, Леонид Петрович, добрый день!” Повторяй-ка!

— Здравствуй, Леонид Петрович, добрый день!

— “Дай потрогать за корёнь!” Повторяй за мной!

Идёт дальше.

И навстречу, например, старуха. Ковыляет-скрипит. Идёт косоночко, налегая на черенок, выдернутый из растрепавшейся метлы. Вся — ворчанье и боль: то в голову шандарахнет, то в спину отдаст, а то и сказать стыдно.

Только дядя Лёня не пройдёт мимо:

— Здорово, чувиха! Сбавь-ка обороты, уже скороходы дымятся!

И нависнет, и облапит, большой и мягкий. Скажет в самое ушко предельно нежным голосом:

— Здравствуй, мама...

И старуха, едва видная в его объятьях, шмыгнет носом: не то слезой прошибло от этого забытого “мама”, не то дух спёрло от сивушного перегара, а не то просто набезало. Черкает ладошками по щекам. Маленькая, слабенькая. Стоит под рукой сумраком и тленом. И только глаза — живые! На землистом иссечённом лице — два нализанных кружочка акварели: обмакни кисточку и пиши апрельское небо с белыми облаками и приветливым кладбищенским леском в чёрном отпотевшем поле.

— Как сама-то, баб Шур?

— А ничё, сына, спасибо! Помирать вот скоро, труба-кранты придёт нашему котёнку...

Оба посмеются. И оба — грустно: одной не до веселья, а у второго вдруг изострится на сердце и вспомнится вот такая же кроткая и милая, которая кормила из рук, а нынче лежит под бугорком и держит над собой разохшийся крест, чтобы птицы сидели, да сынок видел и не забывал. И тоже, наверное, набезит, так что побыстрее сморгнёт и спросит не сразу:

— А сейчас-то куда, мам?

— Дак, а на почту! — начнёт доклад старуха. — Сахару взять под пенсию да старику сигареты... Он заколебал меня! Утром чуть глаза разинет — сразу за курево! Глушит газовой атакой, хоть в поле беги. Вся моль передохла! Теперь, видать, я на очереди...

Старуха говорит, нимало не беспокоясь, интересен или нет её рассказ постороннему человеку. И, конечно, не упустит случая пожаловаться, хоть на миг, но снять беду-горе с плеч:

— Ишо дочка, холера, устраиват концерты. Нигде не работают, а вот ерундистикой занимается! Поставит бардумагу да потаскиват из фляги, крышка всю ночь — хлоп-хлоп!.. Станем со стариком говреть — худые! Материт, как собак... Да что ты, говрю, в самом деле?!

— А Григорыч?

— Старика-то ишо побаиватся, а на меня — с кулакам! Давно ли ковшиком угостила по боту́хе... А-а, туда и дорога! Устала я жить, больше не хочу. Не старик, дак скочевала бы к Борьке с Ыркутска. А с етим дураком куда поедешь?! Он же орёт, как самашедчий, никуда ехать не хотит! Вылупит глаза и давай зепать во всю матушку...

И вдруг осердится старуха, станет чернее тучи:

— И чё вы, слушай, пьёте и пьёте?! Сколь можно-то, а?! Ведь всё как есть пропито, куда к чёрту ишо-то лакать её, проклятую! Вы башкой-то маленько подумали, чё с вам завтра будет, к кому вы, такие-то, приткнётесь?! Никому же не нужны! Это только мы занимаемся, ходим да упрашиваем! А сдохнем — выбросят вас, как поганцев, на улицу, скажут: уматывайте! И куда вы, дураки, подадитесь?!

Кто выбросит и по какому праву, старуха не уточняет. Но и без этого понятно, что всё пойдёт пропадом, когда помрут они, старики...

Наконец, попросит у старухи денежку, а старуха сразу и “оглохнет”:

— А?!

— А-а! — смекнув, откуда дым, передразнит дядя Лёня. — Хэ на-а-а!!!

— Ой, Лёнька, горе твоей матке! Ты почему такой-то?! — засмеётся и вместе заворчит старуха, и будет это так, как будто сплёвывает мокрый волос с языка, а сплюнуть не может. — Материшься, как этот... Как тебе, слушай, не стыдно?!

— А чё ты мне впариваешь: прям, не слышит она! Сосед у меня тоже... под дурака работает. Говорю ему вчера: “Дай, старый, двести рэ!” Он (как и ты же): “А?” Я ему: “Дай двести рублей!!!” Он: “А-а-а??? — А-а! — не вытерпел. — Хэ на-а-а!” Ну, обиделся: “Чё ты мне, — говорит, — его суёшь!” “Во, — говорю, — я у тебя двести рэ попросил — ты глухой! А на хэ послал — сразу все пробки открыло!”

Старуха, покивав для вежливости, вздохнёт пропаче, да тут же и выдохнет — как будто весь воздух вон. Повернётся спиной и потянет из кошелька, словно травинку из стога, боясь оборвать, но и надеясь, что передумает и не возьмёт.

— Когда отдашь-то?! — не выпуская сторублёвку из рук, спросит напрямки и, не скрывая, что даёт безо всякой охоты. — Смотри, Леонид: я в сельсовет пойду...

Но это редко. Чаще сошлётся на что-нибудь для отказа, а сама долой, сморкаясь в платочек и громко разговаривая в воздух:

— Вам, беспутным, займёшь, дак потом не выходишь! Идите-ка вы в сраку, самим на пашню надо...

Идёт дядя Лёня — как мёду попил, и когда из подворотни выскакивает и, напряжив длинную тяжёлую цепь, не лает, а захлёбывается кашлем и слюной особо ретивая собачонка, некоторое время с разочарованием смотрит на неё.

— А ты вообще р-р-рот закр-рой!!!

...В центре посёлка — большеглазый Дом культуры. Так он и туда зарулит, особенно если в танцевальном зале гуртится собрание с участием районных властей. Сидит в переднем ряду — ногу на ногу. Когда плегут совсем несусветное, демонстративно кладеат откидным сиденьем. Курит на крыльце, облокотившись на перила, и время от времени энергично загребает рукой, созывая народ. Но тот внука на качели повёл, эти — сети поехали проверять, а та спешит на дойку...

Всем некогда! И только дядя Лёня — деятельный и политичный. Его даже чиновники знают, потому что раз в пятилетку, но посещают посёлок. Полна поляна машин, серебрится тонированными стёклами мэрский “крузёр”. В облупленном зале, обшитом вздувшимися от сырости листами ДВП, — десяток-другой человек, не считая поселковой администрации. Плюс дядя Лёня. И приезжих — штук пятнадцать. Зелёная скатёрка на столе, бутылки с минералкой, пластиковые стаканчики... Называется — пресс-конференция. Как в Москве! “Мы, — кричат, — ваши покорные слуги

* Ботуха (сибирск., диал.) — голова.

и всегда готовы услужить! Просили десять лет мобильную связь — пожалуйте, пользуйтесь...”

— Так же, Лёнька?! — главный “слуга” однажды сработал на рейтинг.

А пьяному — что? Оглянулся: никакого другого Лёньки рядом нет. Значит, это ему! Возьми да брякни:

— Ты с кем разговариваешь, холоп?!

И раньше у дяди Лёни были неровные отношения с властью, а после этих слов и вовсе мечтают, чтобы во время сходов его не было. И он тоже после каждого собрания желает, но уже вслух и не экономя слов, чтобы *этих* ещё лет пять в посёлке не было. И у них — у дяди Лёни и власти — всё это чудно получается: взаимно не быть там, где их меньше всего хотят видеть.

* * *

Дяде Лёне — шестьдесят с припасом. Сам пришлый: шёл-шёл от Байкала к Амуру, тараня бульдозером тайгу, но однажды устал и махнул товарищам рукой: “Дальше — сами!”

С ним устала маляраша-штукатурша, выглядывая из-за спины виноватыми счастливыми глазами. С ней темно, а вот он родом из Матёры, что на Ангаре. Деревня захлебнулась в водах Братской ГЭС, и дядя Лёня её никогда не видел. Его отец, Пётр Петрович, от своей руки спалил родную избу, потребовал в сельсовете компенсацию и был таков. На чужбине, в отстроенном для переселенцев посёлке, в котором обретался первое время, он и посеял сына, а самого заусило по Союзу.

Дядя Лёня недалеко ушёл от отца. Окончил восемь классов, ремеслуху, отслужил на Дальнем Востоке. Но дома сгодиться не захотел и со всеми двинул на Север, где нефть, БАМ и Майн Рид. Оказался в бригаде Бондаря незадолго до легендарной встречи с бригадой Варшавского на разъезде Балбухта. Потом вкалывал на линии Тынды—Беркамит. В перестройку отмотал плёнку назад, вернулся, где уже был, и обосновался в молодом посёлке на Лене.

И тут же оброс подробностями.

Например, болтают, что есть у него альбом с фотографиями, на одной из которых он (между прочим, абсолютно голый) забрался на крышу теплушки и, козырьком приладив ладонь ко лбу, смотрит в ясную даль. На оборотней стороне надпись: “Куанда, 1984 год”. Так ли оно на самом деле или нет, наверняка не скажешь, ведь никто этого альбома не видел, только слышали о нём со слов хозяина. А говорить он мастак. Мелет много и в жилу. И никогда не врёт!

Вообще, разное в нём совмещается и лежит заподлицо, как тёс на крыше. Глядя, как дядя Лёня идёт по посёлку и со всеми приветливо здоровается, невозможно представить, что ещё вчера он медленно, словно раненый зверь, брёл за женой по улице, иступлённый и включенный, и страшно орал:

— Наташка-а-а?! Я тебя зар-р-режу! Куда девала?!

На что жена, проворно уходя от него с оттопыренным рукавом, отвечала:

— Никуда я не девала! Ты её давно выпил!

Он не верил:

— Дева-а-ла!

И уже тише, спокойнее обещал:

— Я тебя зарежу, Наташка-а...

И наоборот: когда сосед стал гонять свою жену и, догнав, пнул в живот, дядя Лёня проявил самое настоящее участие и на другой день (вероятно, измучившись тем, что мужик бил бабу, да ещё так подлю и жестоко) предложил меру противодействия:

— Давай я его, козла, порву на портянки?!

Но так-то не видно, чтобы задирался. Как и многие мужики, он любит, “чтоб по справедливости!” И когда ему назовёшь имя одного деревенского, сообщив о нём какую-нибудь штуку, дядя Лёня (в случае владения им неким

не известным для тебя знанием об этом человеке) тут же поправит, но не из вредности, а всё во славу той самой справедливости:

— Вася-то?! Ха-а, Ва-а-ся... Пьяный всю деревню поит, а трезвый кучу навалит, дак ещё палкой поковыряет: то ли выдал? Может, в хозяйстве пригодится?!

Но сам, занимая деньги, справедливости в отдаче не всегда придерживается и первые разы пунктуально возвращает, а потом слагает с себя обязательство, надумав о займодавце много и всё таким образом, что деньги тому вроде бы и ни к чему.

Отчасти это непостоянство объясняется тем, что денег у дяди Лёни почти никогда нет, а те, что время от времени появляются, утекают сквозь пальцы. С чего бы ему разбогатеть? Как закончил комсомольскую стройку, так сменил дюжину профессий, но ни в одной больше не нашёл себе должного применения, нигде со всем своим вчерашним не смог притереться, а со всем сегодняшним так и остался в контрах. Он словно заступил за финиш с развешиваемой поверху атласной ленточкой, на которой написано крупными буквами:

“Кем бы ты ни был, человек — рабочим или крестьянином, —

за этой чертой ты никому не нужен!

Мы рады, что всё твоё догнивает в могиле

с пятнадцатью крестами в головах!

Будь проклят, несчастный совок!

Ура!!!”

Последним оплотом стала угольная котельная, на которой дядя Лёня работал истопником. И всё бы куда ни шло, даже держал хозяйство — корову и бычка. Косил на той стороне Лены, у ручья. Зимой, по льду, вывозил...

— Сынок подставил: стукнул у начальника крутую тачку, а сам слинял к бабке в Нижний! Звонит: так и так, папа...

Зарезал бычка. Но с того раза пошло-поехало! Из детей при нём после бегства сына осталась дочка-школьница, которую он трезвый, пьяный ли, а называет не иначе, как “доча”. За неё и пострадал. Пришла из школы комиссия, покатила шаром, покачала головой. Пришлось ехать в город, оформлять кредит и покупать компьютер. Это он ещё в котельной дежурил, положение позволяло. Потом загулял, кредит просрочил, залез в другой... Крест-накрест! Наконец, пристав. В кожаных перчатках, как Гитлер. Проси не проси, а корову — под нож...

И вот сегодня — воздух в кармане, вошь на аркане! Стайки распилил на дрова, сенокос зарос ольхой, завалянка у дома сгнила, вместо стёкол — кое-где куски фанеры. Пенсия, несмотря на северный стаж, с гулькин нос. Из котельной, едва расквитался с банками, проводили за какие-то грехи. Жена мыла в совхозной конторе полы — контору прикрыли. Время завывать, а у них совсем другие песни...

Чуть свет, прежде чем закуролесить по посёлку, дядя Лёня идёт на реку с вёдрами из разных дивизий — пластмассовым и цинковым. Отличаются они и по объёму, и чтобы не было крена в сторону большего ведра, зимой дядя Лёня кладёт в меньшее кусок-другой льда, а в прочее время просто несёт и матерится из-за этого несоответствия тяжестей. Набрать одно из вёдер неполным ему не придёт в голову.

В том, что он таскает воду на руках, есть что-то архаичное, исконное, мужичье. Теперь мало кого скараулишь за ручным трудом. Все норовят прожить чужими руками, а свои берегут для какой-то другой жизни, наверное, очень важной.

Дядя Лёня не бережёт. Не знает, скорее всего, что ещё будет какая-то другая. Вся она у него позади, чему два свидетельства: медаль “Строителю Байкало-Амурской магистрали” и растрепавшееся удостоверение к ней. И нынче он тратится весь, а размотать себя не на всю катушку ему тоже не взбрёт на ум.

Впрочем, это не касается некоторых типично деревенских занятий, к которым дядя Лёня абсолютно равнодушен, хотя бы они и сулили маломальскую выгоду. Не охотник, не рыбак, вообще на всякий такой легкомысленный

промысел не ходок, даром что во дворе перевёрнута кверху дном целёхонькая “Казанка”. Он, когда его сомускают, например, на подлёдную ловлю, долго не может понять, чего от него хотят.

— Это, — уточняет, — сидеть на морозе и дрочить?

Зато горазд на другое.

Кажется, из всех видов прибитка, которыми возможно перемочься в деревне, дядя Лёня освоил в совершенстве и уверенно застолбил за собой только рытьё могил. Его вполне задёргали этой надобой, говоря по нынешним временам, когда кладбище выдвинулось в поле, а на въезде за кладбищенские ворота даже сложили бревенчатую избушку с печкой — копальщикам согреться в холода, дёрнуть рюмку-другую. Дядя Лёня и строил на пару с корефаном.

— Все-е-ех похороню! — напиваясь на поминках и поднимая руки, порванные ломом и лопатой, искренне и мрачно обещает дядя Лёня.

Бывает, конечно, более одухотворяющая треба: вместе с женой пропа-львают грядки старикам, красят, белят, наклеивают обои. Зимой дядя Лёня чистит снег, колет дрова, либо что-нибудь другое по хозяйству. Прошлым летом, к слову, латал крышу медпункта, взяв помощника. Ну, затрелевали по прислонённым доскам четыре листа шифера, закрепили на два гвоздя. За работу назначили тысячу рублей. К вечеру распорядились ими. Назавтра тут как тут:

— Ещё тысячу!

Когда отказали:

— Полезай, Валерка, на крышу, сбрасывай шифер!

И убежали, хлопнув дверью. Что с ними будешь делать?!

* * *

Этой весной дядя Лёня разжился необычным калымом. Накануне 9 Мая рано утром загрохотал кулаком в дверь школы, попросил кисточки и краску из кабинета рисования и стал подмалёвывать выцветшие списки на мемориальной стене во дворе, за кустами акации. Видно, что старается на совесть, но получается не ахти. Ведёт то жидко, то густо, вылезает за гравированные контуры букв и роняет капельки, вытирая тряпочкой. Когда забывает, капельки растекаются и засыхают, как смолка на подсечённом дереве, и дядя Лёня, плпнув, немного погодя и уже размокшие, промокает их вместе со сплюной.

Погода с вечера дождливая, нет-нет, да посыплет. Дядя Лёня, ёжась в налипшем гимнастическом костюме “Адидас” с защитой молнией, но не прекращая обводить, талантливо и с неприличными подробностями ругает небо, дождь, свишую на забор ворону, а с нею и главу администрации, что пообещала за работу тити-мити, и себя, “подписавшегося” на эту халтуру... Словом, что ни попадя! Но при этом и всамделишная боль, которая пролетает через всю душу стрелой и торчит из печёнок:

— Дак вот я думаю, сынок: мы хоть какие-никакие, а были нужны! Теперь же нам сказали: “Закройте с той стороны калитку!” Вот я — работал на совхозном складе... Какой там кладовщиком! Наживал за сто сорок шесть рэ чахотку... Много я украл?! Ну, мешок пшеницы или комбикорма скомуниздишь по тихой грусти, спрячешь в канаве! Ночью прибежишь с тележкой, да и то не себе, а той же бабе Шуре толкнёшь за бутылочку... А сейчас?! Чуть его выберут, как, смотришь, уже тырить начал. Всю страну раздербанили, а на нас, нищету, грешат! Нет, ты приди ко мне, поищи: есть у меня чё или нет?! Ты ведь не был у меня, сынок? И правильно, делать нечего...

Замечает, вдохновенно откинув кисть, на кончике которой — золотистое семечко:

— Я читал твои статьи, сынок! Про теплоход, про Мишку-длинного, про нас, алкашей... Красиво пишешь! Я ведь тоже в юности стихи сочинял. Вот послушай-ка:

— Это я насчёт первой любви, — информирует дядя Лёня. — Меня даже в районке печатали! А потом не до стихов стало, в рот бы они не брякали...

После обеда приходит его любимая “доча”, вынимает из баночки с водой вторую кисточку и начинает помогать. Ногти очень грязные и подкрашены дешёвым, уже отколушнувшимся лаком. Чёрные великоватые джинсы подвёрнуты с запасом года на три вперёд. Простенький старенький свитерок вышаркан на локтях. Кроссовки из кожзаменителя потрепались, в местах носочных стибов образовались дыры, в которые видны босые ноги. Девочка учится в восьмом классе. Про неё говорят, что у неё “чёрная рука”, потому как вроде бы украла кошелёк, когда в клубе была репетиция. Репетировать Танюхе есть что. На всякий праздник она выступает в хоре, темнея между другими ребятами пепельным лицом. Или поёт одна тихо-тихо, безо всякого отношения к тому, о чём поёт, и даже без какой-либо способности к пению. Но вместе с тем в зале грустно, как будто в ненастную весеннюю ночь качается в лесу хрустнувшая берёзовая ветка, а из неё каплет на сухие прошлогодние листья. И по всему видно, что Танюха только потому на сцене, что её приставили к этому делу, недолго поискав глазами в классном журнале, а она приняла, как должное. Так вообще дети из бедных семей с малых лет безропотно терпят всё, что бы им ни преподнесла жизнь, к добру — благодарны и отзывчивы, и если к ним с добром, то охотно участвуют в разной самодеятельности, куда обихоженных ребятешек калачом не заманишь. Та же Танюха каждый Новый год — тоненькая снегурочка с ватным снегом на воротнике и с огромными голодными глазами...

Взрослое и детское вместе:

— Пап! Мы с мамой всё приготовили, ждали тебя поисти, даже мультик посмотрели... А ты не пришёл!

— Т-твою мать! И мультик без меня посмотрели?! — огорчается дядя Лёня. — Теперь плакать буду...

Уходит на обед. Танюха остаётся за него. Корпит, как пчёлка, в шевелящейся тени акации, потому что солнце, неясно выглянув, — уже за кустом, и ветром смежает ветки. Рассказывает словно сама себе (о прошедшем мимо мужике), но с поразительным участием к событию, о котором в песне не скажут:

— Он, этот мужик, у дяди Валеры всё варенье съел! Мы с Лёхой (ну, моим двоюродным братом) сели пить чай, а варенья нет. Я варенье приносила из дома! Этот мужик ночует у себя, а днём околачивается у дяди Валеры. Взял и сожрал моё варенье! Я ему высказала (ну, обозвала его), а он меня толкнул. Я говорю: “Слышь, ты?!” Он погнался за мной, а мы с Лёхой убежали. Хотели ему окошки ночью пошибать, а чё-то не стали. Ему всё равно кто-то окошки пошибал! Лёха говорит, что это он...

* * *

Нынешней зимой жену дяди Лёни госпитализировали с подозрением на туберкулёз. Он на другой день собрал котомочку и поехал к ней. Что уж он увёз, а только вечером на остановке котомочки не было. Стоит у ларька с пивом и возится рукой в кармане, словно щиплет мякиш. Вязаная шапочка, китайская дублёнка, грубая и тяжёлая, а на ногах, как у многих, — “дутыши” на толстой (как раз для Севера) подошве и с не контактирующими между собой ремешками на липучках...

Но главное у дяди Лёни — шарф! Настоящий, шерстяной. На пару витков вокруг шеи, да ещё и с гаком. С размытым рисунком в виде ёлочек и чего-то ещё, в чём безошибочно угадываешь нечто милое, старинное и вместе с тем недавнее, когда мороженое стоило семь копеек, по телевизору показывали “Зигзаг удачи”, а наши побеждали в биатлоне, и у каждого имелись

лыжи “Быстрица” (сорт второй) или даже “Карелия” с отслоившимся на носке пластиком, перемотанным изолентой, на каких по воскресеньям, иногда всей семьёй, ходили в лес...

— Да я, сынок, никогда не беру здесь пиво! — оправдывается дядя Лёня, когда рука, выплыв, не приносит ничего, кроме денег на проезд. — Тот раз купил, а на дне волос... Обычный, человеческий! Разливщица через котёл без плавков прыгала...

Смотрит на беговые лыжи с английским названием.

— Кому? — а когда говорю, что себе, деловито выясняет, какая им теперь цена.

И по искреннему неведению, неловко скрывающему себя, нечаянно догадываешься, что приобретение вещей, не входящих в число физически необходимых, давно перестало быть частью дяди Лёниной жизни.

— Много! — отвечаю, и со стеснением называю стоимость лыжного комплекта, равную среднему месячному заработку жителя посёлка.

— А чё много-то?! — размашисто, а у самого — ноль в заглашнике. — Надо доче купить...

Про жену не распространяется. Рассказывает, что ездил в Москву, гулял по Красной площади и там его “чуть не прокатили на кожаном мотороллере”.

— Ну, сначала шёл, как будто ничем ничего, а эти петухи — за мной! Демонстрация у них, что ли то, была — петушиная... “Прокатят, — думаю, — на старости лет! Или сосать заставят...” Ка-ак вчистил к Мавзолею! Залез к Ленину в саркофаг, отлежался. Утром ноги в руки — и на вокзал, купил билет в деревню... Больше, короче, не поеду!

Громок, молодецват! В автобусе засыпает стоя.

...Когда рядом живут такие люди, совестно покупать не хлеб, а лыжи, разрывая зубами целлофановую обёртку, рискуя опануть чей-то голод запахом разломленного пирожка, а также быть писателем, нудить о своём и фотографироваться “на память”, вытянув против лица руку с зажатым мобильником.

Зачем нам память о себе? Для кого эта память о нас? Кому мы?..

* * *

Летом качу старую облупленную тележку; пустая фляга гремит... По дороге — дядя Лёня и Кощей-бессмертный, поселковый электрик (его, пьяного, “убивало” током, лежал в районной больнице).

Некоторое время плетутся позади. Потом дядя Лёня окликает:

— Сыно-ок?! Вот ты книжки пишешь, а на речку с этой раздолбанной тележкой ходишь... Тебе же должны машину дать!

Нагнали. Оба — хорошие. У Кося — на треть картошки в мешке. Понимай так: сами отсадились, а лишнее... Ну, в качестве щадящего отступления от истины — на продажу.

— Кто должен?

Невообразимое движение руками, будто хочет поправить на спине товарища мешок и одновременно обнять весь белый свет.

— Ну, как это — кто-о-о?! Рос-с-и-ия! Ры-ы-жий этот!..

Дядя Лёня употребил термин, обычный в его лексиконе.

— Вот запиши-ка, сынок, мои новые стихи, написанные ночью во время бессонницы. Я там немного прибакланил у одного придурка... Но в основном — моё!

И давай читать с чувством и нажимом, как дочь Танюха рассказывала про мужика и варенье:

*Лысый череп, глаза из орбит —
Вождь апачей понюхал карбид!
Он со своей бабой разводится,
С Винни-Пухом сходится, —
Я так думаю, сынок, —*

*Они, наверное, пр-р-рут друг дружку —
И деньги в кру́жку!*

Пошлешь в газету, а гонорар пропьём! Ну, бывай, сынок!

И скорей за Бессмертным, вольный и ненужный.

— Да не платят теперь, дядь Лёнь! — вдогонку.

Разворачивается на всём ходу. Весь.

— Как не плотят? А почему?!

— Демократия.

— Вот ч-ч-черти!

...Вскоре жену дяди Лёни выписали из больницы. Он ездил за ней, привёз тонкую, как щепка. Шепчет ему: “Это я худая от нервного истощения!” Дядя Лёня верит и тоже всему посёлку толкует, что — от истощения. И Танюха, поднимая большие чёрные глаза, говорит в школе: “Это у мамы от истощения!”